

Александр
БЛОК

Сочинения



Александр Александрович Блок

Искусство и газета

«Многие люди любят красивое.

Красивое „в порядке вещей“, оно – наше, здешнее. Не любить красивого просто очень трудно, для этого нужно – или быть уже очень забитым, замученным жизнью, или... знать что-нибудь о том, что больше, чем красивое, и больше, чем безобразное: о Прекрасном...»

**Александр Александрович
Блок
Искусство и газета**

Многие люди любят красивое.

Красивое «в порядке вещей», оно – наше, здешнее. Не любить красивого просто очень трудно, для этого нужно – или быть уже очень забитым, замученным жизнью, или... знать что-нибудь о том, что больше, чем красивое, и больше, чем безобразное: о Прекрасном.

Прекрасного не любит почти никто.

Точнее, Прекрасного не взять силами той любви, которой люди любят красивое, или умное, или доброе, или правдивое; которой они любят закат солнца, красивую женщину, стройную диалектику, добрые дела.

Как все красивое в мире есть только блестящий покров, раскинутый над чем-то иным, к чему красивое относится лишь как условный знак, – так сквозь все многообразные силы любви может пробиться струя иной силы, которую, может быть, и нельзя назвать силою любви; так сквозь все слова о красивом, о добром, о правдивом можно расслышать иные слова, по отношению к которым вся россыпь внешних слов окажется лишь покровом; так россыпь звезд, звездная риза, о

которой говорят поэты, кроет за собою иное, о чем звезды только рассказывают нам на языке своих мерцаний.

Красивые звезды, на которые смотрит девушка с балкона, когда ночь благоухает розами и сеном; умные звезды, на которые смотрел Гейне; добрые звезды, которые указывали путь мореходам; все они – только покров, и за этим покровом сквозит Прекрасное; Прекрасное снится и девушке, и Гейне, и мореходу.

Прекрасное – вот мир тех сущностей, с которыми имеет дело искусство. Вот почему искусство нельзя любить как природу, как женщину, как диалектику. Оно – не тот материал, с которым можно заигрывать или фамильярничать; его нельзя превозносить, им нельзя поступаться для чего бы то ни было. Им нельзя поступиться, от него можно только отступить. Оно – величаво. Об этом думал Пушкин, когда говорил:

Служенье Муз не терпит суеты.
Прекрасное должно быть величавой

Только – величаво. Величавой может быть

жизнь, величавой может быть смерть, величавой может быть гибель даже. Что несут с собою те миры, которые называются на нашем языке мирами искусства, какими бурями они нас ослепят, какие звуки преобладают в этом неведомом нам мировом оркестре, — мы не знаем; знаем мы лишь одно:

Прекрасное должно быть величаво.

Искусство никого не обманет, не надо же им обманываться.

Широкие круги публики к нему никогда не влеклись и теперь не влекутся, — и не надо им об этом знать; лучше человеку не слышать о Данте, Эсхиле, Шекспире, Пушкине, чем разменивать их на мелкие монеты, пленяться их правдами, их нравственностями, их красотами.

Чин отношения к искусству должен быть — медленный, важный, не суетливый, не рекламный. Речи об искусстве обязаны быть таковыми, и если они таковыми не будут, рано или поздно зачинщики суеты будут наказаны, на голову их падет та медленная кара, ко-

торая тяжелее всех скорых людских кар. Искусство мстит само за себя, как древнее божество или как народная душа, испепеляя, стирая с лица земли все то, в чем лежит признак суеты, что пытается своими маленькими, торопливыми, задыхающимися ритмами – заглушить его единственный и мерный ритм.

Газета по самой природе своей тороплива и буйна; чем быстрее ритм жизни, тем бешенее кричит политическая и всякая иная повседневность.

Является вопрос, можно ли в самом деле говорить на газетных страницах об искусстве, которое не имеет ничего общего с политикой, которое даже не враждует с ней, потому что миры искусства, до сей поры никогда в мире вполне не воплощавшиеся, относятся к политике приблизительно так же, как море относится к кораблю. Я говорю, конечно, не о содержании отношения, а указываю только масштабы.

По морю плывет рыбацкая лодка в Исландию или «Титаник» в Америку – все равно. Это – маленькая цивилизация, в которую вкраплены, как всегда, редкие бриллианты великих куль-

тур.

Поднимается буря или встречается ледяная гора – это неизвестная стихия, подобная стихии искусства, до сих пор не исследованная даже мировыми гениями, которые, даже величайшие из них, были несовершенными сравнительно «инструментами божества», не могли, отвлеченные, как все люди, заботами, услышать *весь* голос стихий.

В минуту бури или столкновения с ледяной горой над морем, над стихией возникает видение Креста, как в бретонских легендах. Это – религия, которая исполняет предчувствием и мирит со стихией, вероятно, и до сих пор скорее некультурных рыбаков, чем цивилизованных миллиардеров с «Титаника».

Этой схемой, очень приблизительной, я хочу только указать на химический состав того воздуха, которым, по моему мнению, дышит и должен дышать как всякий художник, так и всякий толкующий о художестве, художественный критик. Ясное дело, что меньше всего в его душе «цивилизации», выборов в парламент, партийных интересов, банков-

ских счетов.

Итак, душа искусства, которая во все времена имеет целью, пользуясь языком, цветами и формами нашего мира как средством, воссоздавать «миры иные», – и душа газеты, которая имеет целью борьбу и заботы только нашего мира, или еще уже – нашей родины, или еще уже – нашего государства, – что им друг до друга?

В большинстве русских газет до сего времени взорам нашим представляется необыкновенно пошлая, но зато очень поучительная картина, смахивающая на какой-то трагический фарс, чье содержание сводится к тому, что тот, кого беспощадно унижают и секут, все время преисполнен мыслью, что не только его не секут и не унижают, но сам он судит и рядит и держит в руках своих бразды правления. Этот фарс, представляемый с успехом на многих сценах русской жизни нашего переходного времени, – для нас, художников, особенно поучителен, *разумеется в области отношений искусства к газете и газеты к искусству.*

В самом деле: в большинстве газет отдел

искусства представляет из себя отдел для чтения между делом, для легкого чтения или для осведомления публики о театральных зрелищах, о художественных предприятиях. Приспособляясь к этой потребности, он все более проникается общим духом газеты, что всего заметнее сказывается на его языке. О театральных впечатлениях, о взломе кассы, об очередной повести известного писателя – рассказывают часто люди одного и того же порядка, различающиеся лишь тем, что один из них сделал своей профессией (точнее: жизнь когда-то принудила его выбрать профессию) газетную хронику, другой – театральное репортерство, а третий – литературную критику.

Эти-то люди и секут жестоко самих себя, сами того не ведая. Они не унижают искусства даже тогда, когда, по тем или иным соображениям, выдвигают бездарное или смешивают с грязью талантливое; даже тогда, когда они служат «злобам художественного дня», который часто не менее пошл, чем день заседания городской думы; даже тогда, наконец, когда сами они *очень талантливы* и талант

их заставляет забывать о пустоте, скрывающейся под ним.

Эти «напрасные таланты», как выразился на днях в одной из своих статей Мережковский, суть один из самых страшных бичей нашего времени, потому что именно они – и главным образом они – уронили русскую литературу наших дней в глазах читающей публики, число которой растет с каждым днем, которая идет к литературе с открытой душой. Это – все еще те знакомые нам пустоцветы революции, которые не могут увянуть, люди без духовной культуры, без языка, без идей, без понятия о прекрасном, люди, исполненные того особого нигилизма, той неисправимой иронии, насмешки надо всем, и в частности – над самими собой, которая, как щитом, защищает их от нападений, с одной стороны, но зато и от общения с высоким и прекрасным – с другой.

Великое в мире всегда сопровождается бедствиями, болезнями, чумой. Чудесное, что витало над нами в 1905 году и обогатило нас великими возможностями, привело с собой в ряды литературы отряд людей зачумленных,

«напрасных талантов», или хулиганов в глубочайшем смысле этого слова.

Они думают, что то, о чем они говорят, называется искусством и литературой; публика думает то же, так как они убеждают ее в этом и если что знают в совершенстве, – так это приемы, которыми можно действовать на дурные инстинкты толпы.

Но у толпы есть и другие, здоровые, а не больные инстинкты, и в силу этих инстинктов – толпа постепенно отстраняется как от этих «художественных критиков», так и от тех, о ком они говорят, с похвалой ли, с порицанием ли – все равно; ведь их похвалы часто во много раз ядовитей и вредней их порицаний; публика же полагает, что те, о ком они говорят, заодно с ними, что все это – «одна шайка».

Описание всевозможных видов и оттенков хулиганства и хамства по отношению к искусству можно растянуть до бесконечности; есть порожденное революцией, есть не с ней начавшееся, и не с ней кончающееся, извечное, «русское» или еврейское, талантливое или бездарное, более и менее разлагающее;

я веду речь к тому, чтобы указать, что общий уровень отношения к искусству в русских журналах и газетах, *отношения не по чину*, ведет за собою ослабление интереса, подозрительность к произведениям искусства и литературы вообще – у публики. Этим не унижается искусство, которого нельзя унижить, ибо оно *не наше*, но только понижается общий уровень культуры.

В частных же случаях (которых гораздо больше, чем можно предполагать) не происходит даже и этого: многие русские люди с быстротой, свойственной здоровой русской душе, перерастают всю эту безыдейную суматоху и все низкие понятия, распространяемые литературными и иными газетными рецензентами, а эти последние, все еще считая себя вождями, больно секут самих себя каждой новой своей литературно-газетно-еврейско-нейрастенической выходкой на глазах у людей, чуждых суете и рекламе.

Это и есть – трагический фарс, разыгрываемый на страницах многих газет.

Итак: с речами о художествах, настроенными на шумный и суетливый политический

лад, пора покончить.

И можно ли вообще говорить на языке искусства в газете, которая служит злобе дня?

Я думаю, что пора сделать такой опыт, которого никто еще не пробовал производить в целом. Не надо говорить много, надо говорить *важно*. Язык художественного отдела ничем не должен походить на язык телеграмм и хроник. Об искусстве должны бы говорить люди, *качественно* отличающиеся от людей, говорящих о политике, о злобах дня. Ведь преемство литературное и преемство политическое не имеют между собой ничего общего, и, в зависимости от этого, речи о политике и речи об искусстве не должны согласовываться друг с другом.

Нечего скрывать ни от себя, ни от кого, что существует противоречие вечное и трагическое между искусством и жизнью, что мосты между ними до сих пор в мире были только легкими, воздушными, радужными мостами, которые исчезали, едва проходили те великолепные грозы, которые создавали их, едва умирали те мировые гении, которые лишь силой своей гениальности создавали эти мосты,

соединяя в самих себе и жизнь и искусство лишь на краткий и чудесный миг.

Постройка этих мостов неумелыми руками есть или безумие, или, что чаще всего, отсутствие подлинного чутья как к искусству, так и к жизни, или – дурной воспитательный прием, которым едва ли можно обмануть *настоящего свежего* человека.

Мне думается, что в России уже существует довольно таких читателей, которым смертельно надоело выискивание в произведениях искусства политических, публицистических и иных идеек, которые понимают, что противоречия жизни, культуры, цивилизации, искусства, религии – не разрешаются ни словами, ни теориями, ни ироническим отходом от их разрешения; что эти противоречия сами по себе глубоко поучительны и воспитательны; что каждый несет их на своих плечах, насколько хватает у него сил; что разрешение их – дело будущего и дело соборное.

Такого-то читателя, по-моему, и должны иметь в виду те люди, которые хотят говорить на языке искусства, хотя бы – со страниц газет; они должны говорить не сенти-

ментальничая, не политиканствуя и не иронизируя.

Политика и искусство в газете – это как город и деревня. Если в городе должно переносить запах фабричной гари и, может быть, желать даже, чтобы город скорее превратился в стальное чудовище, сжимающее в когтях своих людей («что делаешь, делай скорее»), то в деревне, в десяти верстах от города, должна являться иная жизнь, там можно и должно не суетиться, там заметен первый снег и первые фиалки.

Лишь при таком отношении к искусству можно наложить строгое и решительное veto художника на тот обман, который мы наблюдаем ежедневно, на ту чудовищную вульгаризацию ценностей, которая уже принесла свои плоды, извратив в умах читающей и интересующейся искусством публики смысл многих явлений в области Прекрасного.

Конец ноября – начало декабря 1912